

НАСЛЕДИЕ КРЕМЛЁВСКИХ  
ВОЖДЕЙ

# СВЕТЛАНА АЛЛИЛУЕВА

ОДИН ГОД  
ДОЧЕРИ  
СТАЛИНА



# Светлана Иосифовна Аллилуева

## Один год дочери Сталина

### Серия «Наследие кремлевских вождей»

*Текст предоставлен правообладателем*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=6713204](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6713204)*  
*Один год дочери Сталина: Алгоритм; Москва; 2014*  
*ISBN 978-5-4438-0767-6*

#### **Аннотация**

Эта книга дочери Сталина, Светланы Аллилуевой, была написана в эмиграции и издана в США по-русски и в английском переводе в 1970 г. В центре мемуаров стоят политические проблемы и объяснение необъяснимого: как это случилось, что дочь всесильного вождя решила бежать из России? В книге приводятся многочисленные свидетельства «из первых рук» о частной жизни семьи вождя, даются подробные характеристики Сталина и его ближайшего окружения.

# Содержание

I. Решение	4
Последний день в СССР	4
Браджеш Сингх в Москве	20
Конец ознакомительного фрагмента.	59

# **Светлана Аллилуева**

## **Один год дочери Сталина**

*Всем новым друзьям, которым я обязана своей  
свободной жизнью*

### **I. Решение**

#### **Последний день в СССР**

Я не думала 19 декабря 1966 года, что это будет мой последний день в Москве и в России. И уж, конечно, этого не предполагали мой сын Ося, его жена Леночка, моя Катя и никто из друзей, зашедших в этот день повидать меня перед отъездом.

День был очень холодным. Мороз 15 градусов по Цельсию к вечеру дошел до 20, шел снег, началась метель. Самолет должен был вылететь из аэропорта Шереметьево в час ночи, но, сколько я ни звонила диспетчеру, никто толком не знал, будет ли летной такая погода. Казалось, что Москва не хотела отпускать меня. Друзья и знакомые звонили и спрашивали: «Правда ли? Правда, что ты сегодня улетаешь?» И я в сотый раз повторяла им одно и то же.

Это было, действительно, невероятным, что мне разрешили отвезти в Индию прах покойного мужа, поэтому многие не могли никак поверить, что я действительно улечу сегодня ночью.

Это была моя первая поездка за границу, не считая 10 дней, проведенных летом 1947 года, в гостях у брата, стоявшего с авиационным корпусом в Восточной Германии. Мне самой было как-то очень странно, хотя разрешение было получено еще месяц тому назад и за это время я могла бы спокойно собраться. Но я все еще не уложила большой, занятый у приятельницы, чемодан, плохо соображая, какую погоду встречу в Дели и что там носить. Второй чемоданчик, поменьше, был готов: там были многочисленные подарки индийским родственникам (мне объяснили, что без этого нельзя ехать), а также подарки от индийского филолога, д-ра Бахри, для его семьи в Аллахабаде.

Меня больше всего беспокоил саквояж, где находилась белая сумка поменьше, а в ней – небольшая фарфоровая урна с прахом... Я долго мучилась, не зная, как я повезу ее? Мне давали разные советы, но я чувствовала только, что должна держать ее где-то возле себя, рядом. Это было что-то почти живое, она казалась мне очень тяжелой. Это была некая таинственная часть меня самой.

С утра зашла моя давняя школьная подруга Аля. Мы вместе окончили десятилетку, вместе поступили в университет и окончили его по одинаковой специальности – новая

история США. Даже выбор этой специальности был решен для нас обеих, отчасти Алей или скорее ее мамой, работавшей долгие годы старшим референтом по США в иностранном отделе «Правды». Алина мама хорошо знала английский язык, а ее сестра давно жила в Детройте.

Аля была тихая, синеглазая, одна из лучших учениц в классе и в университете. Она не умела сердиться, злиться, повышать голос. Но она была твердой в своих принципах, которые были доброта, честность, труд. Такими же были ее три дочери, с которыми она была как подруга, равная с равными.

С Алей было необыкновенно легко и просто говорить о чем угодно: она умела слушать и всегда хотела понять. Единственный раз только она не поняла меня – когда я сказала ей, что крестилась. Она понимала религиозное чувство, в ней самой было нечто такое, но она боялась церкви как социальной силы.

Вся ее семья знала Баджеш Сингха. Ее дочь Таня со своим мужем, студентом-математиком, жила несколько месяцев в квартире Сингха, предоставленной ему издательством; ведь он жил у нас. Аля знала многих московских индийцев, она работала редактором в Издательстве восточной литературы.

Сейчас она пришла тихая и милая, как всегда, и мы пили кофе в кухне, самой главной комнате моей квартиры, где принимались лучшие друзья. В этот день пришли еще двое

моих бывших одноклассников, Миша и Вера.

С Мишей мы учились вместе с восьмилетнего возраста. Он был, как и я, рыжий, в веснушках, и читал больше всех в классе. Мы обсуждали Жюль Верна и Фенимора Купера и современную научную фантастику. В 11 лет мы начали зачитываться Мопассаном, у каждого дома была большая родительская библиотека. Тогда же мы начали писать друг другу записки на уроках, на промокательной бумаге: «я тебя люблю!» и целовались, когда представлялась такая редкая возможность. Вскоре у Миши арестовали родителей (они работали в крупном издательстве), а потом и тетку, врача. Моя гувернантка настояла в школе, чтобы Мишу перевели в другой класс, предъявив директору улики – наши записки на промокашках. Дружба прекратилась, мы лишь ненадолго встретились опять во время войны. Но много позже, после XX съезда, Миша разыскал мой телефон и позвонил: он беспокоился обо мне. Я сразу узнала его голос (в школе мы звонили друг другу почти каждый день), и с этого дня мы были снова друзьями. Он стал инженером-строителем, хотя с детства любил литературу и гуманитарные науки, и по-прежнему много читал. Добрый и сердечный, он знал о каждом из своих одноклассников: кто где работает, кто женился, у кого дети. Он умудрился никого не растерять из старых друзей и сохранил дружбу со многими из нашей школы. Меня он навещал раз в полгода, и мы обсуждали родительские проблемы. Своего младшего сына, певшего целыми днями, как

соловей, он отдал в музыкальную школу, мечтая, что со временем из него получится Карузо. Старшая дочь, хорошенькая и нервная, причиняла ему много беспокойства. В этом году она заканчивала школу и неожиданно стала увлекаться историей Востока и Индии. Я отдала для нее в этот день свои любимые книги об Индии: «Автобиографию» и «Открытие Индии» Джавахарлала Неру.

Веру я знала с самого раннего детства, потому что ее мать была подругой моей мамы. Обе они дружили с талантливым педагогом Региной Гласе, от которой и шли в наш дом все воспитательные идеи и которой я, по существу, обязана моим интересным детством. Регина Гласе получила образование в Швейцарии, а в России работала с Шацким<sup>1</sup>. Моя мама, так верившая в просвещение, находилась под сильным влиянием Регины, с которой у нас в семье больше никто не находил общего языка: отец не выносил ее и ее «педагогических фокусов» и вскоре настоял, чтобы она перестала бывать у нас.

Но Регину любили в Вериной семье. Веру, еще при маме, приводили к нам в Зубалово, по соседству с которым она жила обычно летом в деревне. Туда меня водила моя няня, или же мы встречались в соседнем благоуханном сосновом бору.

---

<sup>1</sup> Известный русский педагог, следовавший «свободной школе» Толстого. Организовал школу для бедных крестьянских детей, учил их искусству. Переписывался с Рабиндранатом Тагором, много заимствовав из его педагогического опыта.



Потом Вера училась в одной школе и в одном классе со мной, но здесь каждая из нас нашла своих подруг и разные интересы. Вера была прирожденный натуралист и поступила после школы на биологический факультет университета. Я же всегда любила литературу и гуманитарные науки.

Вере досталась нелегкая жизнь, но она была с детства подготовлена к самоотверженной работе, упорству и к полнейшей отдаче себя делу. Она увлеклась генетикой. Но в 1949 году, как раз когда она закончила Университет и могла бы начать самостоятельные исследования, эта наука в СССР была объявлена «идеалистической» и запрещена. Вере, как и многим генетикам, не захотевшим отказаться от своего призвания, пришлось продолжать исследования под «камуфляжем». Теперь, когда хромосомная теория «реабилитирована», оказалось, что годы не прошли даром. Вера теперь – один из ведущих генетиков в стране. Когда я уезжала, она заканчивала свою докторскую диссертацию (сейчас она, наверное, уже доктор биологии).

У Веры никогда не было семьи, хотя она, как никто, полна любви и заботы о других. Через день она носит обед 90-летней Регине, живущей недалеко от нее. Мы пытались устроить одинокую и полуослепшую Регину в дом для престарелых, но это оказалось нелегко: Регина не желала расставаться с самостоятельностью. Кроме того, она не могла жить без концертов в Консерватории, куда умудрялась доставать билеты на самые недоступные и редкие. Там мы с Верой и

встречались в университетские годы, когда не было других поводов для встреч. Но за последнее время для нас обеих вдруг обрели значение те далекие годы детства, и мы снова потянулись друг к другу. Мои дети полюбили ее с первого же дня, когда она пришла и увидела их.

У нее был чудесный дар контакта с людьми, но не со всеми: она ничего не значила для тех, кто судит внешне, и для нее они были неинтересны. Ее нельзя было назвать ни хорошенькой, ни хорошо одетой. Внешне в ней было мало «западного», хотя в Париже, где она сделала сообщение о своей работе на французском языке, она всех очаровала. Внешне она принадлежала к классическому типу русской демократической интеллигенции прошлого века – лицо крестьянки, освещенное изнутри светом интеллекта. Длинные русые волосы она укладывала в косу вокруг головы, черты лица ее крупные и не очень правильные, и вся она была коренастой, тяжелой кости, выносливой для работы в поле. Но какие у нее были глаза! Огромные, печальные, серые, как русское пасмурное небо, и, как это небо, незабываемые.

И когда Вера говорила, то все было значительно и важно, даже истории о ее кошке и канарейке, которые она рассказывала моей Кате.

С Верой всегда было грустно расставаться. Вся ее жизнь одинокой подвижницы несла на себе тень чистого и высокого трагизма. Ее никак нельзя было бы назвать несчастной или беспомощной, но о ней постоянно болела душа, как об ал-

мазе, мимо которого торопливо пробегают люди, не замечая его среди булыжников.

Звонили многие, с кем я работала в Институте мировой литературы (ИМЛИ). Лиза спросила только: «Правда ли?» – и потом была долгая пауза. Лена расспрашивала о подробностях: «Неужели меня пустили одну? Смогу ли я поехать по Индии? Что я с собой возьму?» Были неприятны эти расспросы и то, что забывают о печальной причине моей поездки, о нерадостной миссии, столь непохожей на туризм.

Звонили Анна Андреевна и Марина, эти все понимали и не задавали дурацких вопросов. Как им было не понимать? Хотя мы знали друг друга лишь несколько лет, но мои старшие друзья, немало повидавшие в жизни, стали мне так близки, как будто мы всю жизнь провели вместе. Кроме того, Марина, как и ее муж Натан, должны были непременно кого-либо опекать, и они опекали меня своей любовью. В числе Марининых опекаемых был Игорь (она нас познакомила), который тоже забежал в этот день попрощаться и убедиться, что я действительно еду.

Игорь хорошо знал искусство Индии и Индонезии, писал о нем, но поездку туда ему не разрешали, хотя об этом просил Институт истории искусств, где он работал.

Под таким же запретом жила и пришедшая попозже в этот день моя милая Берта, лучший в Москве знаток музыки и искусства Африки. По-видимому, мы все считались «неблагонадежными». Берта была любимицей Сингха, потому что

она одна из всех моих друзей свободно говорила по-английски и еще потому, что у нее был веселый нрав. Она приносила все московские новости и сплетни, ее раскатистый смех наполнял всю нашу квартиру.

Берта – дочь американского негра и еврейки, приехавших в СССР в 30-е годы и оставшихся здесь навсегда. Она родилась и выросла в Ташкенте, где поселились ее родители. Бюрократический формализм не имеет пределов, и, когда Берта, достигнув совершеннолетия, получала советский паспорт, милиция требовала в графе «национальность» записать «узбечка» или «русская».

«Да посмотрите на меня! – кричала Берта, похожая на своего отца, как две капли воды. – Посмотрите на меня! Какая я узбечка? Какая я русская? Я – негритянка и хочу быть негритянкой!»

Ей сделали уступку ввиду того, что она была единственной в Узбекистане «советской негритянкой» и чемпионкой этой республики по теннису. Но позже этот пункт всегда вызывал вопросы во всех отделах кадров.

Эта веселая, громкая, крупная женщина, не боявшаяся иметь свое мнение и спорить с начальством, ярко одетая и еще ярче украшенная, всегда окруженная оживленными собеседниками, вызывала молчаливые судороги злобы у бесцветных партийных чиновниц института, где она работала. Они не выносили ее смеха, ее черной кожи и красного маникюра и ее незаменимости. Она говорила по-английски и зна-

ла африканское искусство, но в Африку ездили они, немые невежды, потому что у них были партийные билеты и рабоче-крестьянские предки. Берте оставалось, как и Игорю, только завидовать моим тридцати дням, в течение которых я смогу если не увидеть мир, то хотя бы выглянуть на него в небольшое окошко.

Берта осталась у нас, чтобы проводить меня ночью на аэродром, и курила сигарету за сигаретой. Погода все ухудшалась, мела метель и было неясно, улетит ли самолет по расписанию.

Потом пришел посол ОАР Мурад Галев со своей очаровательной женой. Они прожили в Москве уже двенадцать лет, их младшая дочь родилась здесь, и в семье все немного говорили по-русски. Это было мое единственное, кроме посла Индии, знакомство в дипломатическом мире Москвы, произошедшее потому, что эти два посла были дружны между собой и оба хорошо относились к покойному Сингху. Мурад и Шушу были свидетелями тяжелой болезни Сингха и всего того, что нам с ним пришлось пережить. Мурад тревожился и несколько раз повторил мне: «Не задерживайтесь там долго, возвращайтесь скорее! Хотите на обратном пути заехать в Каир? Шушу поехала бы туда, чтобы провести с Вами неделю у нас в доме, Вы бы отдохнули после всего...» – «Нет, как-нибудь в другой раз, Мурад, – сказала я, – сейчас я еду не отдыхать».

У него не было оснований тревожиться о моем возвра-

щении, но Мурад очень хорошо знал, что думают «наверху» о моей поездке, и беспокоился больше о своей репутации и советско-египетской дружбе. Он и Шушу уловили то, что немногие понимали, – крайнюю степень отчаяния, горя и внутреннего озлобления, к которой привела меня смерть Сингха, – состояние, в котором человек способен решиться на все.

Они пытались уговорить меня не ехать на аэродром до тех пор, пока не выяснится точно час отлета из-за погоды. Но я упорно собиралась выехать из дома в 10 часов вечера, чтобы заранее быть в аэропорту и, если нужно, ждать там хоть до утра. Меня начинал охватывать какой-то суеверный страх; мне казалось, что все стихии сговорились против, что-то случится, и самолет не улетит. Нет, нет, я буду ждать только там!

Наконец прибыла сотрудница Министерства Иностранных Дел Кассирова, по настоянию Громыко назначенная мне в качестве «сопровождающего лица». Сколько я ни пыталась объяснить, что мне не нужен переводчик в тесном кругу родственников, сколько ни плакала бедная Кассирова, которой ее миссия казалась бессмысленной, мы должны были обе подчиниться решению правительства. Мою поездку в Индию поставили на широкую государственную ногу, чтобы хоть этим компенсировать грубый запрет нашего брака и чтобы сгладить неприятное впечатление от самого факта смерти Сингха.

Это «сопровождение» приводило меня с самого начала в отчаяние. Трагическая развязка должна была послужить политическим интересам двух правительств. А я-то удивлялась, почему мне так быстро разрешили эту поездку! И все думала, почему бывший посол Т. Н. Кауль, теперь один из секретарей Министерства Иностранных Дел в Дели, уже прислал мне несколько писем? Почему племянник мужа, государственный министр Динеш Сингх, просит отложить приезд до того времени, когда окончится сессия парламента и он сможет сам поехать со мной в деревню? Откуда вдруг такое внимание и заинтересованность – после того, как человек умер? И новый посол Индии в Москве, Кеваль Сингх, был полон внимания и делал скорбное лицо, входя в мою квартиру.

Государственный интерес нахлобачил на мою поездку, продиктованную – для меня – чисто личными моментами. Впрочем, чему удивляться: вся моя жизнь прошла под прессом «государственного интереса», и сколько я ни пыталась стать человеком, а не «государственной собственностью», мне это так и не удалось.

Но сейчас я меньше всего думала об этих неприятных «наслоениях», меня поглощала лишь мысль, начинавшая и мне самой казаться чудом, что я в самом деле сегодня ночью уеду и через какие-нибудь восемь часов буду в другой стране, что для меня было то же самое, как очутиться на другой планете.

Я была почему-то совершенно уверена, что легко сумею найти общий язык с братом покойного мужа и родственниками, хотя я только раз написала им. Я хотела отдохнуть душой в деревне, о которой столько слышала, посидеть на террасе, откуда виден закат солнца над Гангом. Я знала, что там тишина и покой, что там знал и любил Сингха каждый деревенский мальчишка и что, может быть, там, наконец, я отдохну после ежедневного напряжения последних трех лет. У меня не было и мысли, что я не вернусь домой через месяц. Говоря точнее, у меня не было вообще никаких мыслей о том, что будет через месяц... Я была измучена и опустошена. Мне нужно было только добраться до ровной глади Ганга, увидеть это вечное, спокойное течение, куда возвращается каждый индус. Там – я была в этом уверена – наконец «растают и прольются» мои накопившиеся слезы.

Мне казалось, что моя поездка является неким торжеством справедливости, завершающим для нас обоих эти три года безрезультатной борьбы за элементарные права личности и за человеческое достоинство.

Уже надо было выезжать в Шереметьево, мела метель, дорога могла оказаться плохой. Все еще было неизвестно, вылетает ли самолет по расписанию. Берта и мой сын решили поехать со мной в аэропорт, хотя им пришлось бы вернуться домой поздно ночью. Печальная Кассирова ехала с нами.

Наконец, мои вещи упакованы, и впопыхах я не взяла с собой даже фотографии детей и мамы. Я торопилась, волно-



валась и плохо соображала, что делаю.

Приехал первый секретарь индийского посольства, чтобы ехать на аэродром с нами. Присутствие официальных лиц лишило меня возможности толком попрощаться с детьми. Я зашла на минуту в свою комнату и постояла немного там...

Здесь Баджеш жил всего полтора года. Было трудно и тяжело, но так хорошо и спокойно быть вместе. Здесь он умер на моих руках полтора месяца тому назад, и потом маленькая урна стояла в этой комнате. Его присутствие здесь не прекратилось. Его участие в моей жизни продолжалось. Вот его очки на ночном столике, перо и бумаги на столе, его книги в шкафу. За полтора месяца прошедших после кремации каждый раз, когда я входила сюда, я чувствовала, что я не одна в комнате. Это было немного жуткое чувство, но одновременно – приятное. Комната не стала пустой и необитаемой. Добрый дух витал в ней, ласкал эти стены и окна мягким взглядом, гладил этот стол и книги слабой, маленькой рукой, потрепавшей меня по щеке за несколько минут до того, как сердце остановилось.

Но доброе сердце никогда не перестанет биться. Маленькая, слабая рука по-прежнему гладит меня по щеке, чтобы ободрить, и ласковая улыбка следит за мной издали, издали...

В машине молчали, каждый думал о своем. Мне было досадно, что я только наспех поцеловала Катю, стоявшую в дверях ее комнатки. А она была смущена резкой сценой, происшедшей тут же, всех огорчившей, хотя никто не был виноват. Уже когда все были в пальто, Леночка схватила мой саквояж, чтобы помочь мне. Но я испугалась, потому что там внутри была урна (Леночка и не знала), и резко крикнула: «Оставь, не трогай!» Ося подскочил, со злыми глазами, защищать свою ненаглядную. А она обиделась, потому что, в самом деле, так мало оставалось времени, чтобы оказать хоть какую-нибудь услугу друг другу. Все были раздражены и нервны в этот день. Это напряжение не проходило, сын мой сидел мрачный, и только Берта, как всегда, громко говорила и смеялась.

На аэродроме свои порядки. Я надеялась, что перед отъездом, отложенным из-за погоды на час, я посижу спокойно в фойе с Бертой и сыном. Но, как «пассажир, отбывающий за рубеж», я уже была опасной для прочих граждан, а потому меня немедленно отделили от них стеклянной стеной. Нам осталось только быстренько попрощаться второпях и впопыхах, среди чемоданов и напирających сзади пассажиров.

Я поцеловалась с Осей (его глаза все еще были злыми из-за Леночки), поцеловалась с Бертой, мы бессмысленно ска-

зали друг другу: «Пиши!» – «Напишу!» – и я осталась только с Кассировой, которая теперь была моей тенью и следовала за мною за любые перегородки. Мы оформляли багаж, сдавали советские деньги, выправляли наши паспорта, и только еще раз мне удалось увидеть за стеклянной стеной Берту, уже не смеявшуюся, и Осю, печального и несердитого. Я могла только помахать им рукой, и они махнули мне... Вот и все.

# Браджеш Сингх в Москве

Лишь восемь часов полета отделяет морозную метель Москвы от теплого Дели, где декабрь равен нашему маю – столько солнца и цветов.

Восемь часов полета оказались для меня роковыми. Эти часы и километры отделили меня от всего, к чему я, казалось, была навеки привязана, прикована, приговорена, – к чему я, казалось, принадлежала всей своей жизнью. Но мы все только полагаем, что чему-то и кому-то принадлежим...

Ночью в самолете я не могла заснуть. Мы летели на восток. Утро наступило здесь на три часа раньше, стало очень быстро светать, гасли звезды на сиреновом небе. Мы летели туда, где вставало солнце и небо все ярче и ярче наливалось золотым светом. Я смотрела на это небо, на розовые от зари хребты и перевалы Гиндукуша под нами и не догадывалась тогда, что эти горы скоро отделят меня от моей прошлой жизни непроходимым рубежом.

Кассирова спала. Ее лицо и во сне выглядело несчастным, а веки были красными от слез. Возле нее стоял чемодан с подарками для ее коллег в посольстве: она везла им буханки ржаного хлеба и московскую копченую колбасу.

Мы летели быстро, и утро несло нас навстречу. Где-то впереди уже встало солнце, но мне было видно только все сильнее разгоравшееся небо, ослепительное на этой высоте.

Окно было слева, а между мной и окном стояла драгоценная сумка, и я держала на ней руку.

Ну, вот мы и летим с тобой в Индию, Браджеш Сингх. Тебе так хотелось этого, ты это мне обещал – и ты всегда выполнял обещания. Я не одна, мне не страшно впервые оставить город, где прошла вся моя жизнь. Мой паспорт, билет, документы лежат в твоём бумажнике, с которым ты приехал в Москву, – я взяла теперь его себе на память. Вот и солнце наконец! Весь воздух наполнился им, и резче обозначились тени горных хребтов. Мы летим к тебе домой – вместе. Наконец нам это разрешили.

\* \* \*

Мы встретились в Москве в октябре 1963 года, по случайному совпадению очутившись в один день в одной и той же больнице. Ему удалили полипы из носа, а мне миндалины из горла. В коридоре, куда мы выходили из палат, где наши столики для еды стояли рядом, мы несколько дней прогуливались молча, оба в больничных халатах и пижамах, похожих на арестантские. Мне сказали, что этот невысокий седоватый человек, сутулый, в очках, с белыми тампонами ваты в ноздрях – коммунист из Индии, и я незаметно разглядывала его. Он разговаривал по-английски с девушкой из Канады, по-французски с молодым итальянцем, объяснял что-то на пальцах диет-сестре, вежливо и мило улыбаясь. В мою сто-

рону он взглянул раза два без особого интереса: больничная одежда, замотанное шарфом горло и измученный вид вряд ли способствовали большему. Горло нестерпимо болело, я не могла разговаривать.

В те дни хрущевского либерализма в загородной правительственной больнице в Кунцево можно было увидеть иностранцев со всего света – конечно, только коммунистов или особо выдающихся «борцов за мир во всем мире». Их даже помещали в палаты вместе с советскими гражданами, с которыми они имели возможность общаться без переводчиков и посредников, что в иных условиях почти не происходит. В нашем коридоре можно было видеть приезжих из Италии, Индии, Канады, Индонезии, а молодой человек с лицом малайского типа, говоривший по-французски, оказался с острова Реюньон. Но для меня интереснее всех был, конечно, индеец.

Это было не случайно. Интерес к Индии пробудился в СССР благодаря Джавахарлалу Неру, яркому человеку, выдающемуся политическому деятелю, чей недавний приезд в СССР был огромным событием. В России всегда существовал интерес к индийской философии и культуре. Но Неру заново «открыл» их, и не только своей книгой «Открытие Индии», но, намного сильнее, – своей собственной личностью, соединившей в себе Восток и Запад. И мне была более интересна та Индия, о которой писал Неру, реалистический политик, эстет, живо чувствующий искусство, историк с ши-

роким гуманистическим кругозором, но не философ. Мистически-религиозный элемент индийской культуры интересовал меня тогда менее всего. О Рамакришне и Вивекананде я знала мало, и только из книг Ромэн Роллана. Моральное учение раннего буддизма, самая личность Будды, великая подвижническая жизнь Махатмы Ганди, так гармонично соединившего древнюю философию с современной жизнью, были для меня значительнее и интереснее. У меня и в больнице была взятая с собой из дома книга Намбудрипада о Ганди, и мне так хотелось узнать, что думает о ней этот индиец. Мне хотелось подойти, заговорить, спросить, но я не решалась. Для меня было еще совсем непривычным говорить по-английски и, вообще, подойти первой к незнакомому человеку, да еще иностранцу, было для меня чем-то сверхъестественным.

Набравшись духу, заготовив английские фразы, я было решилась однажды, увидев, что Сингх идет навстречу мне по коридору. Но он вежливо уступил мне дорогу, сделав шаг в сторону. Я смутилась и молча прошла мимо.

День или два я не решалась попробовать еще раз. В библиотеке я просмотрела, что там было об Индии, – не так-то много, книги Неру и Рабиндранат Тагор. Есть ли здесь «Гитанджали», песни, прочитанные еще в школе? Нет, не могу найти. А что это, что за фраза?

Сегодня сердце мое почему-то раскрылось,

В него вошел мир и обнял меня.

*(«Утренние песни»)*

Я записала себе эти строки на бумажку и, повторяя их, пошла на наш этаж. Сингх вышел из своей комнаты, когда я была около его двери, и я вдруг перестала бояться.

«Вы, кажется, из Индии?» – обратилась я к нему.

«Да, да!» – улыбнулся он приветливо.

«Тогда можно вас спросить...» – начала я смелея.

И мы сели в коридорчике на диван и проговорили около часа о Ганди, о Неру, о кастах в Индии. Сингх тут же задал мне вопрос: какую организацию я представляю, уже привыкнув, что здесь все разговаривают только от лица коллектива. Услышав, что я «сама по себе», он просиял. Наш разговор был прерван обедом, но мы теперь свободно и легко разговаривали, как только встречались в нашем коридоре.

Довольно быстро выяснилось, что хотя Сингх уже 28 лет коммунист (он стал им в Лондоне), но взгляда своего коллеги Намбудрипада о Ганди он не разделяет. Когда я спросила его о книжке, он, засмеявшись, только махнул рукой:

«Намбудрипад – наш левый», – сказал он с безнадежным презрением.

Для самого Сингха коммунизм был лишь идеалом человеческого братства, основанного на принципах гуманизма и справедливости. Проливать чью-либо кровь для достижения идеала он не желал, да и не смог бы. Он верил в путь реформ



и мирной, демократической борьбы. В лондонской группе молодых индийцев, ставших коммунистами, никто всерьез не изучал марксистской теории: прочитав несколько популярных брошюр, молодые протестующие энтузиасты «решили стать коммунистами».

Сын богатого раджи, он долго жил потом в Германии, Англии, Франции, Австрии. Он помогал европейским коммунистам где и чем было возможно. Много лет он был близким другом и последователем М. Н. Роя.

В конце 20-х – начале 30-х годов коммунизм был модой во всем мире и привлекал многих. В Индии в те годы только молодые люди из высших каст могли приобщиться к европейскому образованию и к европейским социальным учениям, такова была и лондонская группа. Не марксистская классовая борьба, а борьба за независимость Индии оставалась главным содержанием жизни этой образованной либеральной интеллигенции. После создания независимой Индии они оставались на позициях мирного парламентаризма и все сильнее расходились с левыми внутри своей партии. Из первых же слов Сингха можно было заключить, что ни для какой «великой цели» он не убьет не только человека, но и мухи.

К моему большому удовольствию выяснилось, что мой собеседник не знает, с кем разговаривает. На второй день знакомства он начал задавать вопросы об СССР и спросил меня: «Сильно ли изменилась жизнь в Советском Союзе после

смерти Сталина?» Я ответила ему, что, конечно, изменилась, но я думаю, что эти изменения не очень глубоки, не фундаментальны. Затем я сочла нужным наконец представиться.

Сингх посмотрел на меня сквозь толстые стекла своих очков, потом поверх них и сказал только «О!», чудное английское «Oh», у которого может быть столько интонаций. Больше он не сказал ничего; и ни разу – даже потом, когда мы жили вместе, – не задавал мне никаких вопросов о моем отце. Он не принадлежал ни к числу его почитателей, ни к тем, для кого Советский Союз воплощал идеал справедливости на земле. Он хорошо знал Европу, и европейские коммунисты были его друзьями. Социалистические Польша и особенно Югославия были ему намного ближе России. И вообще, он был стар и болен и устал от бесполезного кровопролития на всей земле, от бесплодных внутрипартийных споров, от пустой борьбы честолюбий. Поэтому он сказал только «О!» и позже произнес что-то философское вроде: «Времена меняются, приходят новые люди и другая политика...» Но все это было для него несущественно. Ему было лишь интересно, что неожиданно он встретил в Москве человека, независящего ни от каких организаций и разговаривающего с ним по-английски и по-человечески. Я была для него человек. Кроме того, он принадлежал к семье, знавшей Ганди, Неру и других известных людей Индии. Он повидал в жизни многое и многих, и его «О!» не было очень удивленным. Так что, лучшего собеседника мне было не найти.

Оставшиеся несколько дней в больнице мы проводили вместе каждую свободную минуту и каждый рассказал другому свою жизнь. Я не могу объяснить, почему у меня было чувство абсолютного доверия к этому незнакомому человеку из другого мира. Не знаю, почему и он верил каждому моему слову.

Обширный мертвый запас английских слов вдруг ожил. Ведь раньше мне не приходилось ни с кем говорить, а сейчас я без труда говорила и понимала все до слова. У Сингха был хороший, чистый английский, с хорошим произношением, полученный от шотландца-воспитателя и преподавателей-англичан колледжа в Лакхнау. Все его манеры и поведение были европейскими. Только мягкое спокойствие да постоянная милая улыбка выдавали традиционное индусское ненасилие и равновесие духа.

В его внешности не было экзотической яркости Востока. Когда он надевал свой берет и шарф, идя на прогулку, то становился похож на пожилого итальянца или на тихого, печального еврея.

Мы сидели или бродили по больничным коридорам в своих халатах, беспрерывно разговаривая, и на нас уже бросали косые взгляды больные. Не следует забывать, что в этой больнице находились только чиновники партийного и государственного аппаратов, самые известные актеры, члены правительства и их семьи, словом, московский «высший свет». В глазах всех этих людей (за редким исключением,

быть может) я вела себя вызывающе, так как проводила все время с иностранцем, явно предпочитая его общество советской элите. Но я привыкла нарушать правила этой элиты, которая, в свою очередь, привыкла считать меня уродом в своей среде.

Консервативные партийцы, заполнявшие палаты кремлевской больницы, давно возмущались тем, что Хрущев поощряет усиление контактов с заграницей. Недовольные всем происходившим в стране после 1953 года, изгнанные с «теплых местечек», ожиревшие, апоплексические от водки, обиды и вынужденного безделья, они собирались здесь у телевизоров и «резались в козла», как они называли игру в домино.

Когда эти тяжеловесные туши в пижамах надвигались на нас, прогуливаясь по коридорам, мне становилось страшно за тщедушного, близорукого Сингха. Он громко говорил по-английски и непринужденно смеялся, не усвоив еще советской привычки разговаривать вполголоса. А они замолкали от негодования, видя «такое безобразие» в этих стенах, построенных специально для них и принадлежавших раньше только им.

Сингх был неизлечимо болен. Более двадцати лет бронхоэктазии (хронический бронхит), полученной в Англии и эмфиземы привели его легкие в безнадежное состояние. Антибиотики помогали на время, но холодный климат и простуды быстро выводили его из строя.

Как все индийцы, он был терпелив, не жаловался, не боялся смерти и говорил о своей болезни с юмором, обращая все в шутку. Он фактически уже не работал для партии и желал теперь только тихо дожить жизнь, зарабатывая переводами где-нибудь в Польше, Германии или Югославии, — у него везде были друзья. В СССР он попал впервые случайно: каждая компартия получает известное число приглашений из Москвы для лечения и отдыха. Предложили и ему, и он решил воспользоваться случаем отдохнуть, подлечиться и посмотреть «коммунистическую Мекку» Москву.

Он провел уже полтора месяца в этой больнице, затем его отправят в дом отдыха в Сочи, потом, по пути в Индию, покажут Тбилиси и Ташкент — обычная программа для иностранцев. Пока что все, что он успел узнать об СССР, не привело его в восторг, и он был уверен, что эта поездка в СССР для него первая и последняя.

Цепь счастливых случайностей, благодаря которой мы встретились, продолжала помогать нам. Врачи рекомендовали после операции отдых на юге — и ему, и мне. Это были одни и те же врачи, та же больница, та же система здравоохранения, где каждому больному отведено соответствующее его общественному положению место. Ему и мне полагалось в соответствии с этим порядком ехать в Сочи, в один и тот же дом отдыха, на весь ноябрь.

В Москве была слякоть и холод. В Сочи ноябрь 1963 года был необычайно теплым и солнечным, всюду цвели розы.

Дом отдыха, построенный в начале 50-х годов в ложно-классическом стиле «социалистического реализма», с колоннами, фресками и статуями на каждом шагу, был чудом безвкусицы и помпезности. Отдыхали здесь только члены партии. Они съехались сюда, к теплому морю, со всего СССР, работники райкомов, крайкомов, обкомов. Москвичей было мало: ноябрь ответственный месяц: парад, праздники, все правительство в это время в Москве, на Красной площади, – не время отдыхать. Московский партийный актив в ноябре находится «на своем посту», а провинциалы берут отпуск. Сибиряки наслаждались солнышком и морем.

Узбеки, таджики и азербайджанцы, наоборот, мерзли: один не расставался с папачой даже в столовой, другой «мерз» в теплом кителе и бурках. Велика Россия, на всех не угодишь!

Были здесь и «заморские» коммунисты – двое из Греции, несколько африканцев и два индийца: Баджеш Сингх и бенгалец Сомнат Лахри. Для иностранцев в штате держали переводчицу, но индийцы отказались от ее услуг: они предпочитали гулять по городу со мной. Мы сидели втроем у моря, бродили по сочинской набережной и проводили целые дни вместе. Это было грубым нарушением правил – ими и мной, – и партийная общественность это отметила.

Хотя времена были либеральные, но большинство привычных догм продолжало управлять жизнью – особенно в этой партийной среде. Одна из таких аксиом состоит в том,

что всякий иностранец в СССР подозревается в шпионаже, а потому за ним нужен глаз да глаз и доверять нельзя. В соответствии с этим в общем зале столовой для «иностранных гостей» был отведен специальный отдельный стол в уголке, обильно заставленный бутылками и икрой, что вызывало ропот рядовых отдыхающих. Они могли бы, конечно, подойти и присоединиться к иностранцам, чему те были бы только рады, но то, чему учили их со школьных лет, их не пускало...

Индийцы этих аксиом не знали и потому сразу же пригласили меня пить чай с ними за столом. Это было тоже серьезным нарушением правил, и мы за него поплатились. Со следующего дня «иностранный стол» накрывали в отдельной комнате, которую запирали в часы между едой, главный врач объяснил индийцам через переводчицу, что теперь они могут сколько угодно приглашать меня к столу. Ничего не понимая, они попросили у меня разъяснений, и я сказала Сингху все, что думала по этому поводу... Он только усмехнулся и махнул рукой.

В те ноябрьские дни мы трое услышали по радио весть об убийстве президента Кеннеди. Индийцы были потрясены этой новостью. В санатории никто не знал, как реагировать до тех пор, пока в центральных газетах не появилась телеграмма советского правительства с выражением соболезнования.

Иностранным коммунистам «показывали» страну. Индийцев повезли к главному архитектору города Сочи, и там

они прослушали доклад о перспективном плане развития этого курорта на ближайшие 20 лет. Доклад переводила переводчица, это было мероприятие по плану. Улыбнувшись, индийцы поблагодарили, заметив, что через 20 лет их уже не будет в живых. Потом их повезли в чайный совхоз, полагая, что им будет интересно: все в СССР пьют импортный индийский чай. Но индийцы признались друг другу по дороге, что никогда не видели, как растет чай. В их провинциях его не возделывают.

В совхозе их повели на поля и рассказали об урожаях, потом в детский сад, где дети повязали им красные пионерские галстуки, затем в изнеможении они прослушали доклад о развитии чайного дела в этом районе. Переводчица переводила. Они терпеливо ждали, что наконец им дадут поговорить с крестьянами: им так хотелось узнать о советской сельской жизни. Но этого программа не предусматривала, и их повезли обратно в Сочи. Сомнат Лахри спал всю дорогу, а Сингх держал в руках веточки цветущего чая и привез их мне.

Когда они мне рассказывали все это, я закипала от негодования, от стыда, от бессилия что-либо изменить и сдвинуть с места в бюрократических порядках. Они соглашались со мной, но смеясь, беззлобно. Они не умели злобствовать, у них в мозгу не было злобной извилины. Их спокойствие и невозмутимость были величественными. Они все понимали и замечали, но их ничто не выводило из себя.



Они смеялись над нашим бездушным формализмом, они были сильнее него.

Я тоже показывала им Сочи, но иначе. Мы ходили в приморский ресторан днем, когда никого нет, и подолгу сидели на его балконе, глядя на море. Сингх хотел видеть православную службу, и я водила его в церковь. Он удивленно заметил, что служба в православной церкви напоминает ему индуcский храм, чего он не ощущал на Западе.

Мы ходили на рынок, где расспрашивали о ценах на виноград, айву, груши, свежую рыбу. Мы гуляли по набережной и, в отличие от Сингха, Сомнат Лахри, член парламента Бенгалии, мучил меня расспросами о моем отце и о политике. Им обоим так хотелось непринужденного разговора с советскими людьми, но они чувствовали, что люди к этому не привычны, а партийные – просто боятся. Это удручало их. Они видели Чехословакию, Польшу – там атмосфера была иной. Я объясняла им, что они попали в наихудшую среду: партийцы в СССР, как правило, самые косные и консервативные люди; что в среде интеллигенции они чувствовали бы себя совсем иначе. Такое объяснение удручало их еще больше, ведь в Индии так идеализировали советских коммунистов.

В нашем доме отдыха многие пытались «отвлечь» меня от иностранцев. Несколько человек прямо сказали мне, что «некрасиво получается, вам надо бы больше со своими быть». Одна пожилая пара любезно предложила: «Присоеди-

няйтесь к нашим, ростовским, нас тут много, пойдем вечером погуляем». Отказываться было неудобно, я пошла и весь вечер слушала пошлые, старые анекдоты из партийной жизни.

Ко мне нередко подходили и, отведя в сторону, озираясь, вполголоса говорили: «Ваш отец был великий человек! Подождите, придет время, его еще вспомнят!» И неизменно добавляли: «Бросьте вы этих индусов!»

Иногда незнакомые подходили, пожимали руку, просили сфотографироваться вместе. Всю мою жизнь мне всегда было стыдно и неловко от этого, я не знала, как отделаться от верноподданнических чувств. А сейчас мне их выражали те, кто не знал, что моя жизнь, как и жизнь всей страны, стала легче и лучше после 1953 года.

Неприявшие новый курс Хрущева и решения XX съезда считали, что я «роняю имя отца», и удивлялись, что я ношу фамилию мамы вместо «великого имени».

Врачи, сестры, прислуга были, по-видимому, проинструктированы не оставлять нас без надзора. Если мы играли иногда втроем в карты в комнате Сингха, то туда ежеминутно заходили то с фруктами, то смахнуть пыль, то менять белье среди бела дня.

Мне в комнату поместили соседку, хотя я очень просила оставить меня одну. К индийцам не решались «подсовывать» кого-либо: все-таки гости, могут пожаловаться в иностранный отдел ЦК. Индийцы были слишком благодушны,

чтобы на что-нибудь жаловаться. Но в Москву, несомненно, был послан донос об их и моем недопустимом поведении. Мы не придавали большого значения тогда отголоскам прошлого, но, к несчастью, всего лишь через год пал Хрущев и многое стало меняться в сторону этого уродливого прошлого. Тогда-то я вспомнила Сочи и партийных отдыхающих...

Теплый сочинский ноябрь с его розами, апельсиновыми закатами, с треском цикад под звездным небом сдружил, сблизил нас и решил многое. Баджеш Сингх, которому в декабре следовало вернуться в Индию, изменил свои дальнейшие планы. Он твердо решил не позже чем через полгода возвратиться в Москву, чтобы работать переводчиком в издательстве и чтобы быть со мной вместе.

Он был одинок, как и я. Его первая жена, индуска, и две дочери уже более двадцати лет жили отдельно и были чужими ему. То был традиционный в индусской семье брак, заключенный родителями, без знакомства и любви молодых. В 1940 году, в Вене, куда вступали немцы, он встретил еврейскую девушку, искавшую спасения от нацистов. Она уехала с ним в Индию, и они прожили вместе 16 лет, а потом она решила жить в Англии, чтобы дать хорошее образование их сыну. Сингх не смог подыскать себе работу в Лондоне и вернулся в Индию, хотя любил сына, талантливого фотографа, и тосковал по нему.

Он мог жить в любой стране, а Москва сейчас представляла ему наилучшую возможность спокойной работы. В

Москве он знал многих в индийской колонии, а посол Т. Н. Кауль был знаком ему с юности. И, наконец, он знал, что мое сердце и мой дом открыты для него. Он верил мне и жалел меня. «Прожить всю жизнь в одном и том же городе?! – ужасался он. – Я покажу вам Индию, Европу, мы везде поедем вместе. Я смогу возобновлять контракт каждые три года, а каждый отпуск мы будем проводить с моими друзьями в разных странах. Как замкнуто живете вы, русские! Это невозможно!»

Наивный человек, он не знал, что русские так вот и живут уже 50 лет. Мое поколение выросло в полной изоляции от мира. Но мы все надеялись, что теперь жизнь будет улучшаться и становиться хотя бы такой же свободной, как в социалистической Югославии или Чехословакии, что люди начнут наконец путешествовать. Всем надо видеть мир. Мы надеялись. Но мы заблуждались...

Он уехал в Индию в декабре 1963 года, и я стала ждать его возвращения. Мои дети познакомились с ним и знали о наших планах. Я, как обычно, рассказала все сыну, которому было тогда 18 лет. Мы всегда говорили с ним, как равные, взрослые друзья.

Для меня Сингх был пришельцем из другого мира, духовно намного более богатого и интересного чем тот, в котором я выросла. Самым неожиданным и прекрасным оказалось взаимное понимание: не мешала разница наших биографий, стран, языка, опыта, возраста, – Сингх был старше

меня на 17 лет. Казалось, что все эти различия помогали понимать, жалеть и любить друг друга. Любить и полностью верить друг другу, с первых же слов.

В последний день перед отъездом из Москвы он зашел к нам и в моей комнате вдруг закрыл глаза рукой, чтобы скрыть слезы. «Света, вдруг я никогда больше не увижу вас? – спросил он и сразу же, сияясь улыбнуться, проговорил: – Нет, нет, все будет хорошо! Через несколько месяцев я буду снова здесь». Ему было легче называть меня «Света», а не «Светлана», потому что на санскрите есть имя «Света», что означает «белая». Других слов по-русски он не знал.

Но он смог вернуться в Москву только через полтора года. Письма приходили редко и лишь с оказией – на советскую почту мало надежды. Письма для меня Сингх посылал на имя индийского аспиранта-биолога в Москве. Молодой человек приносил их мне и брал мои, отправляя их как и свои через индийскую посольскую почту. Мы подружились, и я перевела с английского на русский его кандидатскую диссертацию по генетике, которую он вскоре успешно защитил.

Полтора года было потрачено на усилия добиться контракта и приглашения от издательства, на борьбу с противодействием двух ЦК – индийской и советской компартий. Мы не учли, как быстро может перемениться политический климат в Москве и как, подобно флюгерам, сразу же поворачиваются по ветру компартии других стран... Да и кто мог предвидеть падение Хрущева в момент его наивысшей миро-

вой популярности? Разве мы догадывались, что наша судьба зависела и от этого?

Официальное приглашение переводчика-иностранца на работу в московское издательство – очень долгий процесс. Но Сингх был старый коммунист, и его рекомендовал генеральный секретарь ИКП Ш. А. Данге; его знал и поддерживал посол в Москве Т. Н. Кауль. С формальной стороны лучшего не могло и быть. Но все зависело от московского ЦК, от его иностранного отдела.

Сначала все шло гладко, Сингх писал мне, что Данге послал его рекомендацию в Москву. Мы терпеливо ждали.

Дружба с Индией в 1964 году крепла с каждым днем. В сентябре Москву должен был посетить президент Радхакришнан. Чтобы подробнее договориться об этом визите, в августе в Москву приехал зам. министра иностранных дел Индии Динеш Сингх – молодой человек моих лет, племянник Баджеш Сингха.

Он, конечно, знал о планах своего дяди. Он позвонил мне из гостиницы, был очень любезен, приехал посмотреть, как я живу. Я даже не ожидала такой любезности со стороны молодого блестящего дипломата. Он так же хорошо носил европейский костюм, как и его дядя, и его английский язык был таким же безукоризненным. Он дал интервью по московскому телевидению, говорил о социализме и об индийском пятилетнем плане, и всех очаровал. Он заверил меня, что Баджеш скоро приедет и что он сам и его семья наде-

ются однажды увидеть меня в Дели. Я все ждала известий об официальном приглашении Сингха издательством; Сингх ожидал его со дня на день и не понимал, почему его до сих пор нет. Он ничего не мог предпринять в Индии, отказался там от хорошей работы, зная, что поедет в Москву, делал напрасные поездки по жаре и пыли из деревни в Дели и, судя по письмам, часто был болен.

Я вспоминала теперь косые взгляды, которые бросали на нас партийные бюрократы в Сочи и в больнице. По горькому опыту всей моей жизни я знала, что они не оставят нас в покое и только до времени притаились. Я знала также, что группа индийских коммунистов в Москве (формально все дела Сингха должны были проходить через нее) была под влиянием левых, для которых Баджеш Сингх вообще был «не коммунист, а раджа». Так и говорил, смеясь, секретарь этой группы Чандра Шекхар, зашедший ко мне вместе с Сингхом еще перед отъездом последнего из Москвы. Чандра приехал в Москву в 1949 году из южного штата Керала, после неудачной попытки создания коммуны в этом штате. Он отказался от индийского гражданства, женился на русской и вполне стал «советским человеком», свободно говорящим по-русски. Он стал признанным экспертом и референтом по индийскому рабочему движению в Москве, хотя в Индии вряд ли его признали бы таковым. Он писал труды о «пролетариате Индии», давшие ему ученую степень кандидата исторических наук, давал справки для иностранного отдела ЦК КПСС

об Индии и был единственным диктором московского радио на языке малайялам. Он лелеял мечту о революции в Индии, как и его земляк Намбудрипад, вождь левых коммунистов, книжка которого о Ганди так не нравилась Сингху и мне. И от этого человека зависело теперь многое в судьбе Сингха.

Я отправилась к Чандре и прямо спросила его, знает ли он о рекомендательном письме Данге, которое уже давно должно было быть передано в ЦК КПСС. Чандра со своим обычным смешком посмотрел на потолок, потом по сторонам, стараясь не встречаться с моим взглядом, и ответил: «Я не помню, куда я его девал... Никак не могу найти это письмо...»

Летом того же года я видела А. И. Микояна, всегда доброго и по-человечески внимательного ко мне. Я рассказала ему все о Б. Сингхе и наших планах, и он выразил большую симпатию к нам. Однако, чтобы иметь чье-то мнение «над» своим собственным, он рассказал все Хрущеву. По словам Микояна, Хрущев был очень доволен и сказал: «Вот и прекрасно! Пусть поедет, посмотрит Индию: полезно видеть другие страны!»

Я рассказала Микояну о том, что процесс официального приглашения на работу еще не начался.

«Ах, эти аппаратчики, – раздраженно сказал Микоян, – вечно они всего боятся! А когда приедет твой Сингх – приходите вместе в гости и я вас „благословлю“».

В марте 1965 года приглашение наконец было получено,



и Сингх мог выехать в Москву для подписания контракта о работе в издательстве.

7 апреля мой сын Ося и я встречали его в аэропорту Шереметьево и, стоя за стеклянной перегородкой, вглядывались в лица пассажиров прибывших из Дели.

... Могла ли я думать тогда, что лишь через год и восемь месяцев я снова приду в этот зал, увозя в Индию прах мужа, и что в последний раз увижу своего сына, стоящим за этой самой стеклянной стеной?...

Все пассажиры, прибывшие из Дели, уже расходились, а Сингха не было видно. Мы прилипли к стеклянной перегородке. Мой сын волновался, потому что видел, как волнуюсь я.

Наконец я увидела медленно идущего Сингха с тяжелой сумкой в руках. Издалека было видно, что он с трудом переводит дыхание и потому пришел позже всех. Нам еще долго пришлось разглядывать его только через стекло, пока всем пассажирам выправили документы. Он улыбался, махал нам рукой и все время кашлял. Очевидно, за эти полтора года его здоровье ухудшилось, он постарел, лицо стало одутловатым. Он был в тяжелом пальто, в берете и теплом шарфе, как всегда. Добрые, близорукие глаза за толстыми стеклами очков, милая улыбка.

Сингха встречали не только мы. Были еще двое представителей издательства – русский и индеец, давно живший в Москве, старый приятель Сингха, давший ему мысль рабо-

тать в этом издательстве. Они повезли его на квартиру, которую, по условиям контракта, предоставляло ему издательство. Мы условились, что я заеду позже, а пока что я отправилась с сыном домой. Мой все понимающий сын сказал: «Чего уж там, мама, привози его сразу к нам; все равно ведь этим кончится раньше или позже, так лучше сразу!..»

Наконец-то можно и поговорить. Как трудно поверить, что после полутора лет неизвестности и ожидания мы видим друг друга. Нет, подождите, прежде всего Сингх надевает мне на руку маленькие часы – он привез их мне в подарок. (Его уж нет, а часы и сейчас на моей руке – идут, живут...) Потом он сказал: «Послушайте, Света, вы видите, я чувствую себя неважно. Мне нужны антибиотики, может быть, недели на две-три больница. Я надеюсь, будет лучше, я очень устал в Индии, это неопределенное время было ужасным! Но прошу вас, подумайте, пока не поздно: я еще не подписал контракта, я могу ехать к друзьям в Югославию и работать там. Вам будет трудно, я не хочу быть обузой. Я не проживу долго». В груди у него сипело и хрипело.

Нет, как можно было расстаться теперь, после стольких усилий и трудностей, когда все достигнуто? Как можно было опять расстаться? Я сказала: «Глупости. Едемте к нам. Все равно вы не можете жить один в этой пустой квартире. Едемте домой!»

Мы приехали к нам домой и стали разбирать чемоданы. Прежде всего он достал подарки моим детям – никто не был

забыт. Потом мы все пошли к нам на кухню ужинать.

И все казалось нормальным и обычным, просто человек вернулся после долгого отсутствия, из далекой страны.

\* \* \*

Полтора года мы ждали друг друга и еще только полтора года прожили вместе. Он жил бы дольше, если бы мы не натолкнулись на неожиданности, способные разрушить и более крепкое здоровье...

Пока Сингх ждал приглашения в Москву, у нас в стране сменился премьер. В октябре 1964 г. испытанным методом «дворцового переворота» консерваторы свергли раздражавшего их Хрущева и усадили на престол Косыгина. Так называемое «коллективное руководство» триумвирата (Косыгин, Брежнев, Микоян) означало, по существу, приход к власти партийных консерваторов во главе с М. Сусловым. Первым же великим актом новой власти была поездка Косыгина в Китай, и весь мир обошла фотография: развалившийся в кресле председатель Мао и подобострастно сторбившийся перед ним Косыгин.

Но кто бы мог подумать, что эти «великие» перемены будут иметь какое-то значение для нашей частной жизни?

Законы СССР признают только гражданский брак, религиозные браки не имеют легальной силы. Известен прецедент подобного рода с вдовой композитора Сергея Проко-

фьева. Их брак был заключен католической церковью еще в эмиграции, и, как известно, католики не признают развода. Но вдова Прокофьева не могла восстановить своих прав жены и наследницы после его смерти потому, что в то время, как она отбывала свой срок в тюрьме, Прокофьев заключил гражданский брак с другой женщиной, советской гражданкой, и теперь по советским законам этой женщине принадлежали все легальные права вдовы, несмотря на то, что у них не было детей, а от первого брака было два взрослых сына. В любой другой стране первый брак оставался бы в силе – но не в СССР. Для нашего случая этот прецедент имел решающее значение потому, что Сингху не требовался развод от его первой жены, брак с которой был религиозным. Все это нам было известно. Но мы знали также, что в СССР закон в любом случае может быть интерпретирован в «интересах государства», и в этом таится опасность полного беззакония.

Мы только успели навести справки в единственном в Москве загсе, регистрировавшем браки с иностранцами.

На следующий же день мне позвонили из приемной премьер-министра, вызывавшего меня на прием. Это было неожиданностью, и я не знала, что предполагать. Я была так счастлива, что меня, казалось, «забыли» в годы Хрущева. Правительство совершенно не интересовалось тем, как я живу. А что будет теперь?

4-е мая 1965 года было холодным, ветреным днем. Я вошла через Спасские ворота в Кремль, где не была уже мно-

го лет, и неприятные чувства охватили меня. Было холодно, казалось – сейчас пойдет снег. Я шла в старое здание Казаковского Сената, на первом этаже которого почти 20 лет помещалась наша бывшая квартира, а весь второй этаж занимала приемная председателя совета министров, его кабинет и канцелярия. Хрущев дважды говорил со мной в своем кабинете в ЦК КПСС, на Старой Площади. Косыгин же принимал меня теперь здесь, в бывшем кабинете моего отца.

Я ждала в приемной. Уже здесь у меня сжалось сердце от тяжкого предчувствия. Опять эти унылые стены в деревянных панелях, хорошо знакомые мне, эти стандартные казенные ковры, которыми устланы все коридоры в Кремле. Эти зеленые суконные скатерти на пустых столах...

Почему я здесь опять? Зачем? Как тоскливо это ожидание! Каким холодом веет от этих стен, от этих старых сводчатых потолков! Постукивают стрелки электрических часов на стене – такие же часы были в каждой комнате нашей казенной квартиры там, внизу, и так же постукивали. Как я отвыкла от унылых кремлевских интерьеров за эти годы обычной жизни...

Косыгина я никогда не видела раньше и не говорила с ним. Его лицо не внушает оптимизма. Он встал, подал мне вялую, влажную руку и немного скривил рот вместо улыбки. Ему было трудно начать, а я вообще не представляла себе, как этот человек говорит.

– Ну, как вы живете? – наконец мучительно начал он. –

Как у вас материально?

– Спасибо, у меня все есть, – сказала я, – все хорошо.

– Вы работаете?

– Нет, сейчас я дома: дети, семья. Иногда делаю переводы, но редко.

– Почему вы ушли с работы, где были раньше?

– Я ушла по состоянию здоровья, и некому было помочь дома с детьми. Я считала, что для меня дом и дети важнее, у нас ведь есть пенсия...

– Я понимаю: вам было в то время трудно в коллективе. Это понятно. Но мы не собираемся продолжать гнилую линию Хрущева в этом вопросе! Мы собираемся принять кое-какие решения. И вам нужно снова войти в коллектив, занять должное место в коллективе. Мы вам поможем, если что...

– Да нет, я не потому ушла. Ко мне всегда очень хорошо относились, – начала было я, но вдруг мне стало так скучно говорить или что-то доказывать. Значит, он считает, что меня «угнетали» после XX-го съезда. Бесполезно объяснять ему, что мне последние годы стало легче жить, чем раньше.

– Нет, ко мне все очень хорошо относились, – повторила я, – а сейчас я не работаю просто оттого, что много дел дома, и мой муж очень больной человек.

При слове «муж» премьера как бы ударило током, и он вдруг заговорил легко и свободно, с естественным негодованием:

– Что вы надумали? Вы, молодая, здоровая женщина, спортсменка, неужели вы не могли себе найти здесь, понимаете ли, здорового молодого человека? Зачем вам этот старый, больной индус? Нет, мы все решительно против, решительно против!

Я сначала оторопела и не могла не только отвечать, но даже связно думать. Все против. Кто – ВСЕ – против?

– Позвольте, но как же, – начала я, – что значит «против»? Ведь я знаю, что это не вызывало никаких возражений... (Господи, я же забыла, что премьер у нас теперь другой, и все другое, и «линия» другая...) – Больной человек приехал сюда работать ради меня. Что ж, ему ехать обратно? – сказала я, желая сейчас лишь предусмотреть все неожиданности.

– Ну, нет, это было бы нетактично, – молвил премьер. – Но мы вам не советуем регистрировать ваш брак. Не советуем. И не разрешим. Ведь он тогда по закону сможет увезти вас в Индию? А это нищая, отсталая страна, я был там, видел. И потом, индусы плохо относятся к женщинам. Увезет вас и там бросит. У нас много таких случаев, уезжают, потом просятся обратно...

Что-то начало постепенно поворачиваться у меня внутри.

– Мы, во-первых, не собирались уезжать в Индию, – начала я, приходя в себя и начиная трезво соображать. – Он приехал работать здесь, в Москве. Но мы, конечно, хотели бы съездить, посмотреть Индию и другие страны.

Но премьеру было не до этих деталей. Он желал внушить

мне свое:

– Оставьте вы это. Вам нужно работать, в коллектив возвращаться. Никто его не тронет, пусть работает, условия хорошие. Но вам это ни к чему.

– Теперь поздно, – сказала я резко. – Человек приехал, он живет у нас и будет жить с нами. Я его не оставлю. Он болен и приехал только ради меня. Это на моей ответственности.

– Ну, как знаете, – сказал премьер сухо. – Живите, как хотите. Но брак ваш регистрировать мы не дадим!

Прием был окончен, он встал, подал руку.

– Хорошо, – сказала я холодно. – Благодарю вас. До свидания.

У меня не было никакой поддержки в этом кабинете – бывшем официальном кабинете моего отца, известном всему миру. Эти стены давили меня со всех сторон. Даже в окна гляделся все тот же Арсенал, построенный Баженовым. Сколько лет он гляделся в мои окна, желтый с белым, с рядами медных пушек, окаймлявшими фасад, – и сколько лет я ничего больше не видела, кроме него да кремлевских сизых елок. Вон, глядится опять, все тени прошлого обступили меня, теснят, душат... Эти пустые коридоры, эти ковры, эти своды... Скорее, скорее выйти! Уйти скорее отсюда! Проклятый Кремль! Проклятая тюрьма! Нет от тебя спасения нигде, никогда, опять ты за мной, по пятам... Скорее домой, где живут нормальные люди, где ждут меня мои дети и бедный несчастливый, наивный человек.



По дороге домой я старалась успокоиться и сообразить, что же теперь делать? Мне нужно было купить пирожных, торт, конфет, так как этот день был, к несчастью, днем рождения моей Кати и Сингха, а они оба любили сладкое. Я выбирала пирожные в магазине, стараясь отделаться от мрачных кремлевских впечатлений, худшим из которых был сам премьер.

Сингх не мог поверить тому, что я ему рассказала.

– Но почему? Почему? – спрашивал он растерянно. Случилось нечто недоступное для психологии человека из свободного мира. Он просто не понимал. И я вдруг почувствовала твердость в этом добром, мягком человеке, когда он, покачивая головой, сказал:

– Нет, мне не нравится эта жизнь как в казарме. И я не преступник. Я должен им объяснить.

Мы написали вместе в тот же день ответное письмо Косыгину. Сингх ожидал ответа, ждал, что с ним, 57-летним человеком, объяснятся по-человечески. Он не понимал, что как человек, как личность, он не существовал здесь.

Мы неожиданно столкнулись с государством. Медный Всадник, тяжело развернувшись, вдруг устремился на тихого человека в роговых очках, и не было спасения от тяжелых копыт.

Ответа на письмо Сингх не дождался. Медный Всадник не может спешиться и сесть рядом с человеком. Ему некогда. Он скачет дальше, сбивая с ног тех, кто подвернется на пути.

Сингх прожил в Москве всего лишь полтора года. Здоровье его ухудшалось с каждым днем. Этому содействовал и холодный московский климат. Но я думаю, что намного более разрушительным для него оказался политический климат нашей страны, повернувшей от хрущевской оттепели к похолоданию и заморозкам. Резко изменилась атмосфера в идеологических учреждениях, издательствах, литературных журналах, во всех тех кругах художественной, научной и политической интеллигенции, с которыми меня связывали образование и дружба.

В сентябре 1965 года арестом писателей А. Синявского и Ю. Даниэля открылась постыдная полоса незаконных репрессий, вызвавших волну протестов во всем мире. Сингх был потрясен жестокостью приговора: «Семь лет тюрьмы за книги?! За то, что писатель пишет книги?»

Когда я рассказывала ему о собраниях, проходивших у нас в Институте Мировой Литературы, где до суда присутствующие обязаны были осудить, приговорить своего бывшего сотрудника Андрея Синявского, еще не признавшего своей вины, где, по указу партийного начальства, фактически предreshался исход судебного дела, – Сингх только разводил руками и печально качал головой.

Он знал с моих слов, что в СССР существует обширная

литература, которая не попадает в печать из-за цензуры, что многие пишут «в ящик». Знал, что и у меня есть рукопись – история моей семьи. Его мало интересовало, что там, в моих «20-ти письмах»; он знал мои мысли и убеждения и не вдавался в подробности. В ту зиму он посоветовал мне переслать рукопись в Индию с его старым другом, послом Каулем, что мы и сделали. В СССР можно было ожидать всего: обыска, конфискации книг, стоящих на полке, рукописей, найденных в столе... Все это бывало, все это было уже знакомо. Конфисковали подобным образом второй том романа В. Гроссмана «За правое дело», архив и роман А. Солженицына «В круге первом».

Кроме желания сохранить одну из копий рукописи я не думала тогда ни о чем. Посол Кауль увез рукопись в январе 1966 года, во время одной из своих поездок в Индию. Он казался мне тогда надежным другом, часто бывал у нас. Мы ходили в гости в посольство – мои дети, Сингх и я. Это была приятная отдушина для всех нас. Мы говорили по-английски, видели иностранные газеты и журналы. Кауль, как и его друг Мурад Галеп, посол ОАР, любили студенческие вечеринки у моих детей, слушали песни под гитару, танцевали со студентками. Кауля любила молодежь: он приезжал к нам на дачу с большой кастрюлей карри и риса, привозил джин и виски, пел русские песни.

Старые друзья Сингха – индийские коммунисты – отвернулись от него, как только узнали, что советское правитель-

ство недовольно им. Д-р Ахмад, Хаджра Бегам, Литто Гхош (вдова Аджоя Гхош) – все они постепенно исчезли. Генеральный секретарь КПИ, Ш. А. Данге, не раз приезжавший в Москву, не нашел времени, чтобы повидать Сингха, хотя тот пытался добиться встречи с ним. Динеш Сингх, с приходом к власти Индиры Ганди ставший государственным министром, перестал писать нам, хотя знал, что здоровье его дяди в опасности. Только брат его Суреш, постоянно живший в деревне Калаканкар, присылал письма каждую неделю.

А. И. Микоян, уже более не Президент СССР, был по-прежнему любезен, но уже не хотел «благословить» нас. Теперь он говорил мне: «Формальный брак не имеет значения для любви. Я сам прожил с женой 40 лет не регистрировавшись, и никто никогда не сказал мне, что наши пять сыновей – незаконные дети!»

Ах, бедный Микоян, о хитрости которого сложено столько анекдотов! Мы понимали, что он теперь уже не в силах помочь. Распространена шутка о долгой безоблачной карьере Микояна при разных режимах: Знаете, Микоян теперь пишет мемуары под заглавием: «От Ильича до Ильича<sup>2</sup> без инфаркта и паралича». Другой анекдот гласит, что «в России восстановили монархию Романовых, и когда сосланный Хрущев подал прошение царю, тот спросил у своего министра Микояна: „Что нам делать с Хрущевым?“ На что царский

---

<sup>2</sup> От Владимира Ильича Ленина – до Леонида Ильича Брежнева.

министр Микоян ответил: „Я никогда не слыхал, кто это такой!“»

Теперь Микоян предостерегал меня от «чрезмерной дружбы» с иностранными послами.

«Он ужасно напористый, этот Кауль, – говорил Микоян, – совсем не похож на индийца. Ты подальше, подальше от него!» В конце концов я перестала ходить к Микоянам, и даже его старшая невестка, моя давняя подруга, отвернулась от нас.

Советский Союз разделился на либералов и консерваторов – куда ни глянь, – и борьба этих двух направлений отражалась на всем. Сохранить прошлое или решительно отказаться от него? Продолжение линии 20-го съезда или возврат к «сталинизму»; курс на интернациональные связи или на замкнутый русский национализм; современное искусство и эксперимент или консервативная «классическая традиция»; свежий ветер времени, носителем которого всегда является молодежь, или тяжеловесный «ленинизм» старых партийцев – эти две противоположные тенденции сталкивались везде. Разногласие пронизывало семьи, вламывалось в многолетнюю дружбу, в личные отношения. Я назвала бы это борьбой партии Памяти с партией Надежды, пользуясь терминологией одной книги, прочитанной уже теперь, в США. Это термины Эмерсона, но они применимы к любой стране. Как нигде, они приложимы к советской России, ко всему, что происходит в огромной стране, официально руководимой одной

партией. Но не верьте этому! В СССР сейчас во всем борются не на жизнь, а на смерть партия Памяти с партией Надежды, партия прошлого с партией будущего. Это столкновение особенно почувствовалось, когда новый режим Суслова – Косыгина захотел повернуть историю вспять и вернуться к прежним методам. Память толкала их к прошлому. Надежда заставляла всех сопротивляться во всем, где только возможно.

В издательстве Прогресс, где Сингх переводил английские тексты на хинди, тоже боролись эти две тенденции. Главным редактором английского отдела был В. Н. Павлов, бывший личный переводчик моего отца (переводивший в Тегеране, Ялте, Потсдаме, ведший переписку с Рузвельтом и Черчиллем во время войны). Редакторши обожали Сингха и хвалили его стиль на хинди – это были молодые выпускницы Университета. Старший же редактор отдела хинди, при Хрущеве переведенный в издательство из ЦК и уязвленный этим, жаловался, что Сингх «не выполняет норму» и плохо переводит.

Удивленный Сингх спрашивал: «Чей родной язык – хинди? Мой или его? Почему он меня поправляет?» Он не понимал, что от него хотели избавиться и что единственным способом для этого было доказать его непригодность как переводчика. Работа в издательстве была единственным формальным основанием его пребывания в Москве, и, лишившись этого основания, ему пришлось бы уехать обратно в

Индию.

Если бы мы смогли зарегистрировать брак, то тогда закон охранял бы Сингха и его здоровье, для которого работа становилась все более непосильной. Но мы не могли этого сделать. И ему оставалось только работать через силу, даже когда он находился в больнице. Его любили и уважали, но он все время ощущал скрытое недоброжелательство начальства. В. Н. Павлов никак не мог смириться с мыслью о том, что переводчик Сингх мой муж, — как не мог он смириться со всем, что происходило в СССР после смерти моего отца, которого он боготворил.

Даже медицина не оставалась безучастной и объективной, хотя ей-то следовало быть вне партий. Вначале попытались запрятать Сингха в туберкулезную больницу. Я бросилась как тигрица защищать дитя, которое у меня отнимают.

В больницу я Сингха не отпустила. Нам пришлось потратить полтора месяца только, чтобы доказать поликлинике Интуриста всеми рентгенами и анализами, что диагноз неверен, что это лишь бронхоэктазия, что больной не нуждается в изоляции и может работать. Зачем было доказывать это, когда полтора года тому назад кунцевская больница подтвердила диагноз бронхоэктазии и лечила его от этой болезни? Но ведь то было при Хрущеве. А теперь надо было доказать все с самого начала — другим врачам, другой поликлинике, другому начальству. Мы сделали это, но на это ушло время и силы, которых оставалось мало.

За полтора года Сингх был еще три раза в кунцевской больнице. Там его знали, помнили и любили. Сестры и врачи приходили 9-го октября 1966 года в палату, чтобы поздравить нас: они знали, что мы встретились в этой больнице три года тому назад, и палата была полна цветов в этот день...

Я не могу жаловаться на преднамеренно неправильное лечение. Но при системе советского бесплатного медицинского обслуживания вы лишены возможности выбрать врача или сменить его, если он вам не нравится: вы приговорены к нему. Мне казалось, что лечение было слишком изнуряющим, что, принимая слишком много лекарств, больной отравлял себя, я видела, что человек слабел с каждым днем. А когда вышло из строя сердце, то уже ничего нельзя было сделать и оставалось только поддерживать сердце уколами и вливаниями.

Последние месяцы Сингха лечила красивая докторша, голубоглазая грузинка. Когда она входила в палату, он неизменно уверял ее: «Сегодня мне значительно лучше». Она немного говорила по-английски, от нее веяло приветливостью, она великолепно делала внутривенные вливания, сразу попадая в тонкую, слабую вену. Выйдя из палаты, она чуть не плача говорила мне, что положение безнадежное и что я должна быть готова ко всему каждый день. Когда наступал приступ сердечной слабости и астматической одышки, помогал только укол.

Эта прелестная, молодая женщина входила в палату к



больным всегда с улыбкой, и никто не верил, что временами у нее обострялась язва желудка, что она переутомлена и ей некогда поесть.

«А сколько времени отнимают партийные собрания у нас, врачей, – говорила она, – сколько ненужной болтовни, бумаг, списков, отчетов! Нам надо лечить больных, лучше провести лишний час возле больного...»

Сингха навещали в больнице друзья из московских индийцев и два посла – Кауль и Мурад Галеб. Пропуск надо было каждый раз заказывать накануне. В проходной, у ворот, вахтеры с трудом разбирали фамилии иностранцев, приходивших навещать больных – иностранных коммунистов. Пропуска в Кремль давно отменили, но каждое учреждение сохранило за собой право на свои бюрократические установления. Для послов правила были еще более строгими, каждый раз требовалось специальное разрешение. Но они все-таки приезжали, и Шушу Галеб неизменно привозила Сингху его любимый «крем-карамель».

В больнице теперь были новые правила: всех иностранцев перевели на один этаж, чтобы изолировать от «отечественных» больных. Только выходявшие гулять в сад могли перекинуться словом с русским. Это раздражало иностранцев, варившихся в собственном соку. Три года назад обстановка была куда проще. Тогда Сингх и я могли часами разговаривать в коридорах.

В середине октября 1966 года, находясь снова в больнице,

Сингх вдруг сказал мне однажды, что ему бы «хотелось умереть в Индии», повидав хотя бы близких друзей... Он чувствовал, что его дни сочтены. Он устал от этих бесконечных лекарств, диеты, пропусков. Он любил готовить и теперь в больнице читал английскую поваренную книгу и выписывал рецепты. Он хотел жить, мы строили планы на будущее, стараясь убедить друг друга, что у нас впереди еще годы! Теперь он всерьез заговорил о том, что впереди не годы, а, может быть, лишь недели.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.